

The background of the book cover is a photograph of a bridge at night. The bridge has a series of vertical supports and is illuminated with warm yellow lights. In the background, the silhouettes of city buildings are visible against a dark sky. The water below the bridge reflects the lights and the bridge structure.

анатолий  
курчаткин

# солнце сияло

Победитель конкурса «Российский сюжет»  
Номинант премии «Букер-2004»

роман

Высокое чтение

Анатолий Курчаткин

**Солнце сияло**

«Автор»

2004

**Курчаткин А.**

Солнце сияло / А. Курчаткин — «Автор», 2004 — (Высокое  
читиво)

ISBN 978-5-9691-0986-5

Главный герой романа «Солнце сияло» — современный Петруша Гринев, мужающий на наших глазах. Попав после армии в постперестроечную Москву, он изведal все искушения, которые она ему предложила, попал в ловушки, на каждом шагу расставленные для него эпохой перемен и передраг, но остался цел и даже обрел внутреннюю свободу. Роман читается на одном дыхании, напоминает каждому о пережитом, заряжает оптимизмом и верой в собственные силы. Приключенческий и реалистичный, задорный и глубокий, свежий и страстный — он воплощает в себе все лучшие черты жанра, все то, за что мы так любим эту форму повествования.

ISBN 978-5-9691-0986-5

© Курчаткин А., 2004

© Автор, 2004

## Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Курчаткин Анатолий

## Солнце сияло

*Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел,  
что буря утихла. Солнце сияло.  
Снег лежал ослепительной пеленою  
на необозримой степи.  
Лошади были запряжены.  
А.С. Пушкин. "Капитанская дочка"  
Всем, кого я любил и,  
несмотря ни на что,  
продолжаю любить*

### Глава первая

Что говорить, лгать – недостойно, я это прекрасно осознаю. Но в прежние времена ложь, случалось, доставляла мне такой кайф – я просто не мог отказать себе в этом удовольствии.

Ложь в некотором смысле сродни деньгам. В том смысле, что, как и деньги, она дает чувство власти. При этом никаких забот о сохранности кармана. Наоборот: полная безопасность и тайное наслаждение знанием истины, которой владеешь лишь ты.

Вот и тогда, когда я обманул Ловца, сказав ему, что эта гёрл – настоящее чудо и голос у нее – Галина Вишневская с Архиповой, а вместе с ними и Монтсеррат Кабалье отдыхают, я тоже элементарно упивался своим могуществом. Это еще то было зрелище – видеть, как Ловец плывет от счастья. Я его превратил в идиота. У него только не текли слюни на подбородок. «Да, в самом деле?» – с блаженной улыбкой вновь и вновь просил он подтвердить мое заключение. «Нет, ну о чем разговор!» – отвечал я – с такой страстной серьезностью, что никакой детектор лжи не смог бы уличить меня в фальши.

Знать бы, что произрастет из всего этого, я бы заткнул себе пасть собственным кулаком. Залил ее раскаленным свинцом, зашил суровыми нитками. Через край, крупной стежкой, как подворотничок к гимнастерке.

Но что проку сожалеть о случившемся. Сослагательное наклонение – дурная вещь. Может быть, самая дурная из тех, что существуют на свете. Сделанного не вернешь, и «быкать» – это попытка оправдаться перед историей своей жизни.

Я, собственно, и не сожалею о сделанном. Все же я испытал такой кайф – и сейчас во мне все заходится от восторга, когда случается вспомнить о нем.

Но эта моя ложь Ловцу все и переменяла в моей жизни.

А как до того мне фартило. Так, во всяком случае, кажется мне теперь, задним числом. Хотя тогда вовсе так не казалось.

Когда мы познакомились с Ловцом, я обретался в Москве уже несколько лет и успел порядком врасти в ее каменистую почву. Во всяком случае, ее просторы перестали давить на меня своей грандиозностью, я освоился в трех-че-тырех ее районах, не считая центра, обзавелся знакомыми и друзьями, мне было куда пойти, с кем провести свободное время, а главное – я научился выдаивать из ее тугих сосцов свою порцию презренного металла, которой мне вполне хватало и на то, чтобы быть сытым, и на то, чтобы ходить пристойно одетым, а также иметь кое-какой жирок на тот случай, если жизнь обратится ко мне своим тылом.

Правда, так получалось, что жирок этот неизменно висел не на моих костях. Расчетливости Господь послал мне не с лихвой, и при своей склонности, как я уже теперь знаю о себе, к авантюризму, весь скапливающийся жирок я раздавал по чужим карманам. Меня не про-

сил одолжить только ленивый. Потому что знал: есть что одолжить – я одолжу. Следовало бы отметить, мне нравилось это делать. Вернее, так: доставляло совершенно невероятное удовольствие. Замечательно было чувствовать свое могущество. Давая деньги в долг, ощущаешь себя таким гигантом – будто достаешь головой до облаков, и я не мог отказать себе в этом ощущении. Когда я снял свой первый клип и получил на выходе три с половиной тысячи баксов чистыми (по тем временам, 1994 год, страшные деньги), я их все тут же ссудил главе бригады, строившей декорации. Это был хлесткий жилистый парень лет тридцати, ростом за метр восемьдесят, а весу в нем – килограммов семьдесят, не больше, не тело, а сплошные перевивы мышц. Я им любовался – такой он был замечательный экземпляр мужской породы. И так его бригада подчинялась ему: бежали, куда нужно, стоило ему пошевелить бровью, несли, поднимали, кидали, держали. Он только недавно освободился из заключения. И ему нужны были деньги, чтобы организовать свое дело, встать на ноги. Чтобы завязать с тем занятием, к которому пришлось вернуться после отсидки. Занятие его было – выбивать для заимодавцев деньги из должников. И ужасно ему хотелось с ним завязать, начать солидную жизнь. Браткам моим тоже это все уже поперек горла, говорил он. Бригада его, что строила декорации, как раз этими братками и была. Конечно, я ссуживал те свои три с половиной тысячи зеленых не с концами, я собирался их получить обратно, но вышло, что они ушли от меня навсегда. Государство – это же официальный рэкетиер, это же падлы, на которых пробы ставить негде, говорил мне бывший бригадир моей строительной бригады, объясняя при встрече, куда ушли мои деньги. По его словам выходило, что он заплатил и за то, и за это, дал взятку и тому, и этому, а в итоге, чтобы открыть свое дело, денег не осталось.

Тот случай послужил мне хорошим уроком. Я перестал развешивать уши и складывать все яйца в одну корзину. А прежде всего – давать из того, что не мог посчитать жирком. О нескольких месяцах, которые прожил, перебиваясь с хлеба на воду и ходя с подтянутым к позвоночнику животом, мне до сих пор не хочется вспоминать. Племяннику Ра-мо, которого так осуждал Дидро за его прихлебательство, было хотя бы куда пойти поест, а мне – впору садиться в подземном переходе с протянутой рукой. Но отказать себе в удовольствии одалживать деньги я не мог. Зачем доверять их какому-то незнакомому дяде в банке, когда можно отдать друзьям? Друзья есть друзья, и если кто, когда тебе потребуется, не сумеет вернуть долг вовремя, – что за проблема, коль яйца разложены у тебя по разным корзинам?

В сущности, то обстоятельство, что на моих собственных костях, когда возникла нужда, не оказалось ни грамма жирка, и загнало меня в капкан, из которого я не смог выбраться самостоятельно. Если бы не Ловец, может быть, я вообще гнил бы уже где-нибудь в земле.

Впрочем, если вести отсчет, что когда из чего произошло, то нужно, наверно, обратиться к той поре, когда после дембеля я решил никуда не уезжать из Москвы и остаться в ней.

Я был призван отдать священный долг родине в одной стране, а демобилизовался в другой. Того, что такое случится, не могли предсказать даже наши замполиты, у которых, о чем ни спроси, на все всегда был ответ. Тем более не мог предположить ничего такого никто из нас, служивших срочную. Даже тогда, когда в апреле 91-го нас подняли по тревоге посреди ночи, открыли пирамиды, выдали оружие, патроны на два полных рожка, посадили в машины – и рассвет мы встретили уже на обочине улицы Воровского в веренице таких же машин, прибывших из других частей. В Москве в этот день проходил какой-то митинг, и мы, если что, должны были что-то делать – согласно приказу. Но приказа не поступило, и мы, простояв до вечера в своей веренице, готовые от голода грызть скрывающий нас от глаз улицы брезент, двинулись обратно к себе.

Я служил не в самой Москве, а в Балашихе – километров двенадцать от Москвы, ну, может, пятнадцать. И даже, если быть совсем точным, не в Балашихе, а рядом, в лесу – в батальоне охраны штаба войск ПВО. Ночь спишь – вечером в наряд и сутки в карауле. Пришел из караула, ночь спишь – вечером снова в караул. До Москвы нужно было добираться автобусом,

а потом еще электричкой. Электричка приходила на Курский вокзал, и с той поры этот вокзал долго был для меня пуп Москвы, ось, вокруг которой она вращает ревущий автомобильными моторами гигантский жернов своего мегаполиса.

Из леса, где однообразным хороводом нарядов проходили дни моей службы, до гранитов, асфальтов и фонтанов первопрестольной был полный час разнообразной езды, но оттуда, откуда меня призвали отдать отечеству свой гражданский долг, место моего лесного проживания смотрелось самой Москвой, и родители в письмах то и дело величали меня москвичом. Им было лестно, что тайной волей высоких судьбоносных решений их сына не загнали куда-нибудь на северо-восточную оконечность великой родины, где и летом все та же зима, разве что помягче нравом, а определили пусть и не в кремлевский полк оловянно стоять на часах перед Мавзолеем, но тоже все-таки не в последнее место – охранять полковников и генералов в секретных бункерах. Особенно было лестно отцу. Он в молодости, пришедшейся на начало 60-х, пытался штурмовать столичные крепостные стены, но, как я понимаю, его крепко полили с них раскаленным варом, и очаг ожога остался в нем глухой болью на всю жизнь. Даже вот такое сомнительное достижение, как моя срочная служба по охране подмосковных бункеров, виделось ему от этой боли некоей жизненной победой. Он первый и зажег во мне эту мысль – остаться в Москве. «Конечно, ты еще не нашел себя, тебе еще предстоит себя обретать, – написал он мне. – Но это как раз и хорошо. Ведь ты человек, который не может жить без цели, а Москва именно для таких. Главное, чтобы ты поскорее понял, чего хочешь от жизни».

Он был прав, я тогда еще не имел понятия, чего я хочу от жизни. Не представлял, что мне в ней делать. Но точно так же он прав был и в том, к какому разряду человеческих типов я принадлежу. А я принадлежу к тому типу, которому без жизненной цели – как алкашу без бутылки. Как наркоману без дозы. Ей-богу, никакого преувеличения. Не более чем сравнение, причем еще не самое сильное.

Но, наверное, я бы не решился последовать отцовской рекомендации, если б во мне не играла материнская кровь. Отцу можно посочувствовать, спутница жизни ему досталась еще та. Степная кобылица. Причем она оставалась не до конца объезженной еще и тогда, когда мы с сестрой уже выросли. Не в смысле что мать наставляла ему рога, – об этом я сказать не могу ничего. Тут, надо полагать, дело обстояло так же, как и у всех. Ее все время тащило куда-то в сторону из колеи, в которую была вправлена жизнь, вот я что имею в виду. Выламывало из рамок. Она на каждом шагу совершала поступки, касательно которых, стремясь к самому нейтральному определению, следует употребить слово «незаурядные». Однажды, например, она привела в дом и поселила у нас мальчишку-негритенка с соседней улицы. Да, как кому ни покажется странным, в наших утоп-ших среди брянских лесов семидесятитысячных Клинцах обитал такой экзотический экземпляр – дитя жаркой страсти дочери лесных Клинцов и сына черной Африки, чьи жизненные пути неисповедимым образом пересеклись в столице СССР – все той же Москве. Сын черного континента по охлаждению страсти к дочери славной Брянщины оставил ее, а дочь Брянщины привезла рожденного ею, как сказали бы в старые времена, выблядка, на свою малую родину, доверив его воспитание бабушке. Грубое для современного слуха слово «выблядок» более чем уместно в отношении такого несчастного плода любви, оказавшегося никому не нужным и рожденным лишь для того, чтобы с утра до вечера выслушивать проклятия не менее несчастной старухи, получая от нее бесконечные оплеухи и тумачи. Старуха, кроме того, еще и основательно закладывала за воротник, и негритенок даже в зимнюю пору украшал улицу своим присутствием с утра до вечера.

Столовался и обогревался он по многим окрестным домам, но только моя мать решительно распахнула двери нашего жилища, чтобы он вошел в него постоянным обитателем. Месяц или два, что чернокожий воспитанник старухи-алкоголички провел в наших стенах, оказались для нас с сестрой испытанием на прочность и силу духа, хотя мы и были изрядно старше его: сестра на пять, а я на четыре года. Его появление в доме, несмотря на его шести-

летний возраст, было подобно тому, как если б на нас обрушился ураган. Все наши игрушки и игры в мгновение ока были переломаны, книги порваны и исчерканы, мы не знали ни мига спокойной жизни: драки, крики, выяснение отношений. Отец уговаривал мать образумиться, но тщетно – она была нестигаема в своем желании подарить детство обделенному счастьем ребенку. От сожительства с бурей и ураганом в одном флаконе нас спас суровый и справедливый советский закон. Когда мать обратилась куда следует, чтобы официально оформить опеку, на нее накатил такой бюрократический каток, что ей, помню, с трудом удалось уйти от уголовного преследования. Ее обвинили чуть ли не в похищении ребенка, и в результате дитя любви снежной Брянщи-ны и жаркой Африки вновь оказалось на улице, с которой, достигши необходимого возраста, благополучно удалилось в колонию для несовершеннолетних преступников.

Что же до отца, то он, если и не был подкаблучником, то вынужден все же был большей частью жить по уставу матери. Он был более слабой психической организации, чем она, и ему приходилось уступать ей. Мягкость и уступчивость вообще были свойственны ему, как, впрочем, в равной степени и неспособность свернуть в сторону с избранного пути. Если он что-то решил сделать, он пер, не обращая внимания на обстоятельства, – или непременно исполняя задуманное, или же расшибаясь в кровь.

Вот с такой наследственностью, ни в малой мере не осознаваемой мной тогда, я вместе с моим армейским корешем Стасом Преображенским и принимал решение остаться после дембеля в златоглавой и, скрутив по рукам и ногам, положить ее, побежденную, к своим ногам. В карауле, когда оказывались в одной смене, в часы после возвращения с поста, во время бодрствования, мы с ним только об этом и толковали: как после дембеля будем завоевывать столицу.

– Нет, ну а ты посуди сам, что самое сложное, – говорил он, прищамкивая. У него был какой-то дефект зубного прикуса, и речь его обладала этим старческим эффектом. – Самое сложное – это жилье, да? А с жильем у нас все будет в порядке, крышу над головой мы имеем. Так мы что же, не сумеем утоптать себе твердой площадки для жизни? Покантуемся-покантуемся – и перекантуемся.

У Стаса в Москве жил двоюродный брат. К этому его двоюродному брату, когда удавалось на пару выбить увольнение в Москву, мы, как правило, заходили, чтобы переодеться в гражданское и угоститься домашней едой. Он жил в самом центре, на Арбате, в трехэтажном доме на задах ресторана «Прага». Когда-то, сто лет назад, дом напрямую соединялся с «Прагой» и был, по преданию, борделем. Подтверждением тому служила его планировка: нескончаемо длинный сводчатый коридор, глухой с одной стороны, и ряд комнат с другой – дверь за дверью, дверь за дверью. Так и казалось, что из-за какой-нибудь из них выскочит сейчас полуодетая Катюша Маслова, а за нею, придерживая сваливающиеся штаны, вывалится и Нехлюдов. Впрочем, от разврата былых времен давно ничего не осталось, и теперь это была обыкновенная задрипанная коммуналка на сто соседей, одну из комнат которой и занимал брат Стаса. Он был старше нас на двенадцать лет, но держался с нами запросто, как сверстник. Так же запросто держалась с нами его жена, а их семилетняя дочь, собиравшаяся осенью пойти в школу, просто обожала наши появления. Ее обожанию, надо признаться, мы были обязаны нашей форме, и ей жутко не нравилось, когда мы переоблачались в гражданское. Она тотчас теряла к нам всякий интерес, выказывая нам даже некий род презрения, и вновь обрести расположение ее сердца удавалось не раньше, чем мы опять оказывались в форме. «Падко девичье сердце на мишуру, – говорил двоюродный брат Стаса, прижимая дочку к себе и трепля ей волосы. – Что ж вы, барышни, глупенькие-то такие?» – «Мы не барышни, – недовольно выворачиваясь головой из-под его руки, но продолжая прижиматься, отвечала ему дочка, – мы современные девушки, у нас эмансипация». Мы со Стасом ложились от хохота в лежку. Она еще так старательно выговаривала – «эмансипация». Ее отец, тоже посмеиваясь, с горделивым смущением вскидывал брови: «Вот такие мы просвещенные!»



Его звали диким древним именем Ульян. Зато жена у него имела самое заурядное, серое имя Нина. При этом родовые гены, подвигшие родителей дать в свое время сыну никем больше не носимое имя, побудили, в свою очередь, его самого наградить дочь тоже никем вокруг не носимым древнегреческим именем Электра. Как ее, естественно, никто не звал, и прежде всего собственные родители. Во всяком случае, к нашему со Стасом появлению у них в доме она уже прочно и неискоренимо утвердилась как Лека.

И еще одна вещь произошла у них в доме к нашему со Стасом появлению. Вернее, не в доме, а в квартире. Они остались ее единственными жильцами.

Дом согласно решению московских властей возвращался обратно «Праге», и селить кого-то со стороны в него было запрещено. «Прага» обязалась предоставить жильцам возвращаемого ей дома новую жилплощадь, но делать это не торопилась, и на то у нее имелся свой резон. Большинство жильцов было преклонного возраста, редкий месяц обходился без гроба, и дом при необходимом терпении обещал достаться «Праге» без особых затрат. Из квартиры, где жил Ульян с семьей, гробы выносили особенно часто: все остальные комнаты, кроме их, были заселены одним старичьем. Еще, ко всему тому, и сплошь одинокими. Старик или старуха умирали – и комната их оставалась пуста, никто в нее не въезжал. Постепенно Ульян занял одну пустующую комнату, другую – и так в конце концов стал обладателем целых семи, не считая громадной кухни и прилегающего к ней обширного чулана. В похоронах последней старухи мы со Стасом даже поучаствовали; появились здесь переодеться – и остались в мундирах: выносили гроб из квартиры на улицу, ехали потом в катафалке на кладбище и тащили гроб, лавируя между могилами, там. Участие в общем деле, да еще подобного рода, сделало меня в доме Ульяна совершенно своим. До этого я был армейским корешем Ста-са, и не более, после похорон меня стали воспринимать отдельно от него, и я обрел статус друга семьи.

Новый статус поставил меня наравне со Стасом и позволял с полным правом претендовать на то же, на что и Стас. Сил у Ульяна с Ниной распространиться на все комнаты не хватало, они сумели освоить только четыре, а три стояли закрытые. С ними и были связаны планы двух дембелей.

– А если вдруг Ульян не захочет и не пустит нас? – вносил я в наш исполненный оптимизма караульный разговор со Стасом ноту сомнения.

– Чего ему не пустить? – без мгновения раздумья отметал Стас мои сомнения. – Места полно, девать некуда. Амы ему что, чужие?

– Ну, если Нина не захочет. Ей мы кто? Я особенно.

– И Нине мы не чужие, – отвечивал Стас.

– А если все-таки?

Стас наконец задумался. По его слегка вдавленному внутрь, лопатообразному сангвинистическому лицу пробегала как бы рябь, отражающая мыслительный процесс, что шел в нем.

– Они интеллигенты, – говорил он потом. – Как они откажут? Не смогут они отказать. Даже если им этого и не хочется.

Хотелось Ульяну с Ниной или не хотелось, осталось для нас неизвестным. Они дали согласие, чтобы мы поселились у них.

Так в августе 1992 года, ровно год спустя после трехдневной революции 91-го, о которой мне стало известно только в ее последний день, по возвращении из караула, сгоняв в Клинцы, погудев там дня три с друзьями детства до полного отвращения к себе и любой разновидности алкоголя, вновь обретя в кармане вместо военного билета удостоверяющий мое гражданское состояние паспорт, я сделался москвичом. Не в родительском смысле этого слова, унижительно несшем в себе поощрительную натяжку, а в его абсолютно прямом, полном и истинном смысле.

Стас волей командования части демобилизовался полутора неделями раньше меня, раньше меня провернулся с делами в родном Саратове, и, когда я возвратился из Клинцов, у него уже была московская подружка.

– Ништяк, пацан, – сказал Стас, сообщив мне об этом и, должно быть, посочувствовав завидующему выражению моего лица. – И тебя тоже отоварим, в лучшем виде!

– Какой я тебе пацан! – не желая его сочувствия, попробовал я увести разговор в другую сторону.

– Пацан, пацан, – похмыкал Стас. – На гражданке так теперь положено говорить. Не слышал еще, да? – И вернулся к своему обещанию. – У моей Ирки сестра. Вполне себе кадр. Попробуй, подклейся. Что ей быть против. Вроде у нее никого. Перебьешься на первое время.

Было шесть двадцать утра, когда поезд принес меня на Киевский вокзал столицы, а около шести пополудни мы со Стасом шли арбатскими переулками в гости к сестренкам. День стоял теплый, солнечный, но уже тронутый осенью – полный сизой дымчатой хмари, солнечные лучи дробились и запутывались в ней, и воздух вокруг был, казалось, наполнен желтой пылью. Роскошный был день. Самое то, чтобы прочувствовать все великолепие не подчиненной никаким уставам вольной гражданской жизни. Пройтись арбатскими переулками – наслаждение в любую погоду, в такую – наслаждение вдвойне. А идти ими, неся в себе предвкушение близкого разговления после двух лет полного армейского поста... что ж, если я скажу, что не шел, а «летел», – это будет тривиально, но точно.

В руках у нас со Стасом подрагивали полиэтиленовые пакеты с надписью «Irish house – Ирландский дом», отягощенные двумя бутылками водки, бутылкой вина, бумажными свертками с колбасой, сыром и двумя килограммами летних яблок россыпью – всем, что, по нашему представлению, было необходимо для приятного времяпрепровождения с девочками, чьи родители находились неизвестно где в отъезде (где – до этого нам не было ни малейшего дела!), а то есть имелась ничем не ограниченная возможность оторваться от всей души. Отоваривались мы, конечно, отнюдь не в «Айриш хаузе», там торговали исключительно за валюту, и цены были такие – с нашим кошельком беги и не возвращайся, а фирменные пакеты для понта мы выпросили у Нины. Их у нее и было всего две штуки, и, давая нам, она моляще сложила перед собой руки: «Мальчики, только принесите обратно. Заклинаю!»

– А с Ирккой у тебя как, в первый же раз вышло? – примеряя успехи Стаса на себя и желая укрепить себя ими, спросил я.

– Ну, ты вот ты. скажи тебе все, – как-то особенно шамкаяще отозвался Стас через паузу.

– А чего б тебе нет? – удивился я. Такая его затаенность показалась мне странной. Слишком мы были близки, чтобы ему ни с того ни с сего так вот вдруг засмущаться. И потом же я не просил его делиться подробностями. Меня интересовал факт, не больше.

Теперь, вместо того чтобы ответить мне, Стас молча изобразил своим лопатообразным лицом нечто вроде упрёка: стыд у тебя есть? – говорила эта его мина.

Смутное подозрение, пронзившее меня в ту минуту, смысл которого я бы не смог выразить, превратилось в полноценную уверенность, едва на наш звонок растворилась дверь квартиры.

Из глубины ее на нас рухнула громовая музыка, кипящий шум голосов, по прихожей с двумя бутылками шампанского в руках пронесся молодой человек в обтягивающей белой сорочке со стоячим воротничком, у которого были отогнуты вниз накрахмаленные углы. Воротничок туго перехватывала черная манжета, отогнутые углы воротничка, оттененные черным, ослепляли белизной снегов гималайских вершин. Молодой человек быстро глянул в нашу сторону, и глаза его за то кратчайшее мгновение, что были устремлены на нас, успели выразить удивление: а эти кто?!

Я почувствовал всю убогость нашего со Стасом вида. Что он, что я – мы оба были одеты по моде, можно сказать, дореволюционной эпохи. На мне был костюм, сшитый к выпускному школьному вечеру, ставший теперь узким по всем статьям; Стас же вообще красовался в какой-то полубрезентовой, похожей на пожарную куртку, которую он надел на зелено-коричневую ковбойку.

Но главное, вместо многообещающего интимного свидания при свечах и задернутых шторах – что как бы само собою предполагалось – нас здесь ожидало многолюдное шумное гульбище! И, очень похоже, место на этом гульбище отводилось нам далеко не центральное.

В дополнение ко всему открывший нам дверь мотылек смотрел на нас с полной оторопью (сравнение с мотыльком так и напрашивалось: столь легко, столь воздушно, столь порхающе выглядело платье, в которое была облачена девушка).

– Вы что? Вы кто? Вы сюда? – проговорила мотылек затем.

Острое, горячее выражение недоуменной оторопи на ее лице по мере того, как смотрела на нас, мало-помалу отвердевало, превращаясь в маску высокомерного отторжения.

Я чувствовал себя в своем выпускном костюме ожившим ископаемым времен бронтозавров.

– Ира, ее. где. можно? – проблеял Стас.

Казалось, он совершенно натуральным образом заглотил кость и та теперь стоит у него поперек горла.

– Иру? – Маска отчуждения на лице мотылька с очевидным усилием перелепилась в гримасу вынужденной приветливости. Что бы мне ни наплел Стас, некая Ира здесь водилась. – Ира! Подойди! – крикнула девушка в глубь квартиры, извергающей из себя гром незнакомой мне музыки и пенящийся прибой множества голосов.

Музыку там притушили, прибой голосов тоже резко сбавил в громкости, и через мгновение в прихожую, цокоча каблучками, выпорхнул новый мотылек. Вытащив при этом за собой целый мотыльковый шлейф. Впрочем, вперемешку с жуками; молодые люди, все как один, были при параде: черный низ, белый верх. Мы со Стасом оказались выставлены на всеобщее обозрение. Среди молодых людей я заметил и того, со снегом гималайских вершин. Глаза его светились готовностью, если что, постоять за свои права со всей решительностью. Эта же готовность горела и в глазах остальных.

– Ира! – воскликнул Стас, ступая к мотыльку, летевшему впереди всех прочих. – Вот я, как обещал. И с другом!

– Ой! – сказала девушка, взглядевшись в него. И прыснула. – Вы в самом деле? И с другом!

Между тем мотыльковый рой оттеснялся черно-белыми жуками назад, – молодые люди один за другим выступали вперед, в действиях их отчетливо прочитывалась угроза.

– Ира! Вы пригласили! – внушающе проговорил Стас. Он так и не смог справиться со своей костью, и жалкой же вышла его попытка давления. С языка у него изошло не внушение, а мольба о снисхождении.

Но снисходительными с нами никто быть не собирался.

Какую-то пару минут спустя мы уже выходили из подъезда на улицу, держа одолженные у Нины фирменные пакеты «Айриш хауза» под мышкой. Ручки у них были начисто оборваны в свалке, когда нас со Стасом выпроваживали из квартиры. Что говорить, просто так, собственной волей, покидать дом, полный мотылькового полыхания, нам никак не хотелось, и жукам, выпроваживая нас на лестничную клетку, пришлось потрудиться.

– Ну ты гад! – сказал я, опуская свой «Айриш хауз» с яблоками, колбасой и сыром на стоявшую около подъезда скамейку и принимаясь оправлять встопорщившийся, взлезший на шею, перекрутившийся едва не передом назад пиджак. – Подружка у него! Сестренка у нее! «Вполне себе кадр»! Ты этот кадр хотя бы раз в глаза видел?

Стас, последовав моему примеру, положил «Айриш хауз» из-под своей подмышки рядом с моим и тоже принялся наводить на себе порядок.

– Пардон, Сань, – сказал он голосом, полным раскаяния. – Ирка говорила про нее: клевый кадр!

– А сама Ирка? Твоя подружка, да?

Стас, одергивая свою пожарническую куртку, проверяя пальцами целостность ее пуговиц, выдержал мой саркастический взгляд со стоическим достоинством.

– Я так считал, – ответил он мне с прежней покаянно-стью. – Мы с ней от «Смоленского» гастронома, представляешь, где, да? на Садовом кольце тут, рядом, два часа до ее дома шли, уходить от меня не хотела, ей-бо, не вру! Я ей говорю, когда встретимся? Она говорит, давай завтра, родителей, говорит, не будет. Я, естественно, о тебе: друг у меня, вот она тогда – о сестренке.

– И так прямо: «клевый кадр», «вполне себе девушка»? – не удержался я, чтоб не съязвить еще раз.

– Ну, если я тебе чего и добавил, то из лучших же побуждений!

Мой саркастический настрой по отношению к Стасу стремительно преображался в смешанное чувство восторга и изумления. Стас открывался мне с новой стороны. Мне почудилось в нем что-то от гоголевского Ноздрева. В армии я его таким и не знал.

– Ладно, – сказал я, – давай думать, как нам достойно провести вечер, чтобы не хуже, чем планировалось. И что нам делать с этим, – я показал на «Айриш хаузы» с оборванными ручками на скамейке перед нами. – Что добру пропадать.

День стоял все той же хрипловатой ясности и блеска, солнечная пыльца все так же осыпала арбатские улицы щедрым предосенним теплом, – но Боже мой, до чего же это был другой мир, до чего другой Замысел проглядывал в нем!

Мы вынырнули из переулков на бульварное кольцо, прошли сквером обратно до Арбатской площади, обогнули «Прагу» со стороны начищенного до парадного блеска балюстрадного фасада, невольно держа в памяти ее бордельного окраса испод, где мы теперь обитали, и вышли на аэродромный простор Нового Арбата, катящего посередине своего размашистого ущелья бликующие на солнце автомобильные валы.

В двухэтажном кафе «Валдай» в самом начале проспекта, которого там теперь нет и в помине, и лишь в одном уголке его разместился ресторан-трактир «Елки-палки», мы разжились парой граненых стаканов, устроились за столиком у окна, спиной к залу, и, вскрыв одну из бутылок водки, раз-булькали ее. В стаканах получилось всклень, даже выгнулось куполом.

– Поехали, – сказал я, осторожно поднимая стакан и неся к губам.

– Поехали с орехами. Зараза! – отозвался Стас, тоже вознося стакан над столом.

Так, стаканами, и не отрываясь, зараз бутылку на двоих, мы обычно пили в армии. Выпить нужно было скорее, как можно быстрее, чтобы не застукали офицеры, – умение диктовалось обстоятельствами. Но никак нам не думалось, когда покупали эти бутылки, что придется пить их вновь по-армейски.

Мы опорожнили стаканы, посидели, глядя друг на друга заслезившимися невидящими глазами, и, вернувшись в мир, принялись закусывать – так же по-армейски: вырывая куски из колбасы и отламывая куски от сыра.

– Во блин! – сказал я, это и имея в виду: что приходится пить и есть таким негражданским способом.

– Да, блин! – поняв меня, промычал с набитым ртом Стас.

А как мы предвкушали неторопливую обстоятельность, с какой станем употреблять содержимое бутылок, как нам хотелось видеть колбасу нарезанной тонкими, едва не светящимися ломтиками, и такими же ломтиками нарезанный сыр – так, что, когда возьмешь на язык, все внутри отзовется восторгом гастрономического блаженства!..

Хрустя яблоками, обтертыми в гигиенических целях о тыл ладоней, мы вывалились из «Валдая» обратно на улицу. Новый Арбат, подобно навечно заведенному транспортеру, рычал и бликовал несущимися посередине его простора машинами, по тротуару перед нами текла и бурлила цветная толпа. И сколько же билось, толклось в ее рое мотыльков, ожидавших нашего внимания!

– Пошли клеиться! – бросил Стас, устремляясь с крыльца вниз.

– Я буду не я, если мы никого не склеим! – выстреливая себя за ним, победным кликом ответил я.

Как мы плыли этой стороной Нового Арбата, бросаясь к каждой девушке, что двигалась нам навстречу, зубоскалили, терпели фиаско и с легкостью тут же кидались на новую добычу, – это я еще помню. Дальше в памяти у меня провал на несколько часов, и в нем лишь несколько ярких вспышек сознания, зафиксировавших с рельефной чувственностью: вот мы вслед за двумя несравненно обворожительными мотыльками, которые, как нам кажется, отвечают на наш клееж несомненной благосклонностью, садимся в троллейбус, покупаем у водителя и компостируем четыре проездных абонементов – на всех, едем. и вот уже обескураженно кружим по какому-то незнакомому району, не понимая, как из него выбраться, и где наши несравненные мотыльки, и что произошло, почему мы без них; вот мы уже снова неподалеку от Нового Арбата, только на другой стороне улицы, сидим в решетчатой беседке детской площадки во дворе большого, стоящего покоем кирпичного дома, допиваем остаток водки из второй бутылки и мучительно раздумываем, что делать с бутылкой вина: таскать ее с собой нам уже в такой труд, что дальше невозможно, но и выпить ее – тоже никаких сил. «Кроме того, – кричит Стас, ухватив меня за лацканы пиджака, – слабое после крепкого пить нельзя: сшибет с ног, сам говорил!» «Фиг меня что сшибет!» – отвечаю я, отцепляя от себя его руки, но пить не собираюсь, и мы вновь принимаемся терзаться вопросом, что же нам делать с вином; а вот мы метелимся с целой кодлой подростков, у нас уже ни вина, ни яблок – никаких пакетов в руках, мы со Стасом стоим друг к другу спиной, пацанов человек шесть или семь, и я чувствую: еще немного – и они меня завалят. Но звучит спасительный милицейский свисток, и мы вместе с пацанами на всей скорости летим от свистков, перемахиваем через низкий железный заборчик, перелезаем через высокий, так что приходится подтягиваться на руках, запинаясь, падаем, вскакиваем и летим дальше – лишь бы не попасть в руки милиции.

Сознание возвращается ко мне целиком в «Айриш хаузе». Мы со Стасом, помятые и растерзанные (у меня, нащупываю я, на пиджаке ни одной пуговицы), еле стоящие на ногах, толчемся на контроле у касс и требуем выдать нам два фирменных пакета взамен утраченных.

– Поймите, – стараясь придать голосу трезвую рассудительность, втолковываю я дюжему охраннику, вперившемуся в меня каменным безразличным взглядом, – мы увас сделали покупки, но вышло так, что мы остались без них.

– Не будем говорить – как! – таким же усиленно трезвым голосом говорит Стас.

– Да, это неважно, – продолжаю я. – Но мы как порядочные люди не можем вернуться домой хотя бы без ваших пакетов.

– Хотя бы без них, – подтверждает Стас.

– Без них мы – никак, – добавляю я.

Не знаю, чему мы обязаны щедрости охранников, возможно, не столько убедительности наших речей, сколько убедительности нашего вида, но со второго этажа «Айриш хауза» мы спускаемся на улицу с двумя заветными пакетами в руках.

Нина, увидев нас, схватила лицо в ладони. Как это в испуге делают многие женщины.

– Мальчики, что с вами?!

Испытывая распирающее меня до размеров Вселенной блаженное чувство довольства, я подал ей добытые нами в тяжелом бою фирменные пакеты «Айриш хауза», которые нес из магазина прямо за ручки, не посмеяв ни смять их в кулаке, ни сунуть, свернув, в карман.

– Прошу, – сказал я. – В целостности-сохранности. Как новенькие!

## Глава вторая

Деньги, выданные нам родителями в качестве подъемных, подходили к концу. Дonyaшко в нашей кубышке уже не проглядывало, мы скребли по нему. И день ото дня скрести приходилось все усиленнее. Ни о сыре, ни о колбасе не было уже речи, мы сидели на хлебе, чае и кашах, на которые, казалось при дембеле, в гражданской жизни не согласимся даже под угрозой расстрела. Оказывается, у нас со Стасом из нашей казарменной щели было самое смутное представление о нынешней жизни. Конечно, мы слышали, что в стране инфляция, что все жутко подорожало, особенно жратва, но мы и не представляли, до какой степени, что прежний рубль – это теперь копейка. Мы, можно сказать, сорили деньгами – и вот досорились. Впрочем, если б и не сорили, то начали бы скрести по дну какой-нибудь неделей позднее.

– Твою мать! – сказал Стас, лежа на кровати с закинутыми за голову руками и шевеля пальцами ноги, воздетой на колено другой. – Грабить, что ли, идти?

– Грабить и убивать! – хохотнув, отозвался я со своей кровати у противоположной стены.

– Нет, – с серьезностью проговорил Стас, продолжая перебирать в воздухе пальцами. – Убивать не хочется. А грабить, глядишь, я скоро буду готов.

Ульян с Ниной предоставили нам каждому по комнате, но для нас еще привычно было казарменное скученное житье, мы перетасили мою кровать к Стасу, и сейчас, лежа, вели через разделяющее нас пространство комнаты пустопорожнюю беседу о нашем будущем.

– Начни грабить – там и убивать придется, – глубокомысленно хмыкнул я в ответ на слова Стаса.

– Иди ты! – вскинулся Стас – снова с той же серьезностью. – Убить! Не подначивай.

Ему, пожалуй, было сложнее, чем мне. Он вообще не видел, чем заняться. До армии он успел получить профессию радиомонтажника, даже поработал месяца два и очень надеялся устроиться в Москве снова паять микросхемы. «В Москве этих радиоящиков знаешь сколько? – говорил он мне в караулах. – Несметно, вагон и маленькая тележка. И там всегда людей не хватает, а с пропиской сейчас свободно, они за любые руки ухватаются – только умей что-то». Но никаких радиомонтажников нигде не требовалось. Наоборот: везде всех увольняли, в отделах кадров, куда он приходил, оглядываясь, словно за спиной у них кто-то подслушивал, сообщали паническим шепотом: «Сворачиваем производство, скоро вообще закроемся!» Сейчас все вокруг торговали, ездили за границу – в Польшу, Китай, Гонконг, – привозили шмотье и толкали его тут, как у кого получалось, – челночили, но заниматься челночеством – это Стасу не улыбалось. Он хотел делать что-нибудь руками, чтобы результатом его трудов выходило что-то осязаемое, просил Ульяна с Ниной помочь в поисках работы, но у тех пока ничего не выходило. Нина и сама уже была без места, а кооператив Ульяна по производству телефонных корпусов успешно дышал на ладан.

В отличие от Стаса мои планы были вполне определены. Я знал, чего я хочу. Во всяком случае, чего я хочу сейчас.

Сейчас я хотел попасть на телевидение.

Год между армией и школой я околачивал достославным мужским местом груши в родном городе, занимаясь, по мнению родителей, неизвестно чем. На самом деле я много чем занимался, и отнюдь не только тем, что тратил направо и налево отпущенные мне природой запасы семенной жидкости. Во-первых, не так уж это ловко у меня получалось – тратить их, при том, что я, разумеется, не был против подобного разбазаривания. Но я не красавец – из тех, из-за которых теряют голову, – у меня нет ни жгучего взгляда, ни орлиного носа, ни иных выразительных черт. Я довольно обыкновенен: не слишком высок, хотя и выше среднего роста, не атлет, хотя вполне нормального телосложения и не слабак, я не брюнет, не блондин, а заурядный шатен. Я выделяюсь из общего ряда, когда начинаю действовать, делать дело, я

осуществляюсь в движении, – но чтобы увидеть меня в деле, нужны условия. Кроме того, я не хотел связывать себя никакими долгосрочными обязательствами, при любых поползновениях на постоянство благосклонной ко мне гёрл давая от нее деру быстрее, чем черт от ладана, и потому мне приходилось довольствоваться благосклонностью, скажем так, одноразового свойства. А во-вторых, голод, что пек меня на своем огне, имел прежде всего отнюдь не сексуальный характер. Назвать его интеллектуальным? Это было бы весьма приблизительно.

Страстью познания? Слишком высокопарно и снова не точно. Но это был голод, натуральный голод.

За тот год я перечитал столько, сколько, по-видимому, не прочел за все предыдущие годы более или менее сознательной жизни. Торнтон Уайлдер, Олдос Хаксли, Варлам Шаламов, Юрий Домбровский, Оруэлл, Волошин, Камю, Набоков, Осборн ухнули в меня, вот уж истинно, как в бездонную бочку. Я читал книги, журналы, брошюры, какие-то сколотые канцелярской скрепкой перепечатанные на машинке рукописи. У родителей одного знакомого был видак, я пересмотрел у него всего Феллини, Антониони, узнал Пазолини, Бунюэля, услышал о Кубрике, Формане, Бертолуччи. Еще я переслушал чертову уйму пластинок и всяких магнитофонных записей. Полный Бетховен и весь Шнитке, какого мне удалось раздобыть в нашем основанном раскольниками уездном центре, Гайдн и Гершвин на откуда-то залетевших к нам четырех дисках американского производства, Бриттен, Гу-байдулина, Рахманинов, Малер, Шёнберг, не говоря уже о всяких «Бони М», допотопных «Битлз», наших «Машине времени», Цое, Гребенщикове. Я хватал все вокруг, что попадалось, до чего не мог добраться, учась в школе, в которой, как под могильной плитой, был погребен под всеми этими биологиями, химиями, физиками с их несчетными законами и формулами, несомненно, необходимыми человечеству в целом и совершенно не нужными мне. Я жрал яства с пиршественного стола мировой культуры подобно оголодавшему волку, счастливо перезимовавшему зиму и вот дорвавшемуся до сытного летнего житья, я хавал все это безо всяких столовых приборов – пригоршнями, обеими руками, запихивая в себя сколько влезет, обедаясь, рыгая, страдая несварением. У другого моего знакомого обнаружился синтезатор, непрофессиональный, убогий, на то лишь и годный, чтобы бацать на нем вместо фоно, я выпросил его у моего знакомого – и насочинял кучу музыки, от симфонии до песенок на собственные слова.

Вся каверзность моей ситуации в том, что небу было угодно, как выразился приятель моего отца, создать меня человеком Возрождения. Иначе говоря, я и швец, и жнец, и на трубе игрец. Ну, касательно швеца и жнеца – фигурально, а что до трубы – то никакой фигуральности, из продольной флейты, во всяком случае, я извлеку хоть Моцарта, хоть «Под небом голубым» того же Гребенщикова. И до самой середины выпускного класса всерьез занимался станковой живописью, едва не разорив родителей на холстах и красках, а оставив живопись, накатал две повести, послал их в Москву в Литинститут и прошел творческий конкурс. Однако сдавать экзамены я поехал в Брянск – подав документы на истфак пединститута. У отца с матерью было подозрение, что я не слишком старался, сдавая экзамены, но на самом деле я их не сдавал вообще. Жил в общежитии, все вокруг готовились, зубрили, ездили в институт на консультации, а я просто таскался по городу, ходил в кино, вечером – на танцы в парк культуры. Не хотел я ни на истфак, ни в Литинститут, ни на живопись, ни еще куда-то. Свободы – вот я чего хотел. Ее одной, и ничего больше. Жить как хочу, делать что хочу, думать о чем думается, а не о чем меня будет заставлять какой-то тип с кафедры, потому что он, видите ли, защитил диссертацию и имеет теперь право вдавливать за зарплату свои мысли мне в голову.

Свобода моя закончилась тем, чем с неизбежностью смены времен года и должна была закончиться, – армией. Я ждал этого, и в ожидании призыва даже не стал никуда заново подавать документы. Собственно, я даже хотел в армию. Я хотел в нее – как в зев унитаза, в фановую трубу – в рыке и реве извергающейся мощным потоком воды. Я внутренне готовил себя к этому смыву. Если я там выживу, не захлебнусь в фекалиях, не задохнусь от миазмов – значит,

и сумею после распорядиться своей свободой. Соткать из нее что-то путное и толковое. Что-то, что будет обладать Смыслом. Да, именно так думалось: Смыслом. С большой буквы. Хотя, заставь меня объяснять, что это значит, я бы не объяснил.

И вот, в тот год своей свободы между школой и армией, встречая новый 1990 год в сборной компании бывших одноклассников, их двоюродных, троюродных братьев и сестер, а также приятелей этих братьев-сестер, я познакомился с одним нашим земляком, тоже приходившимся кому-то каким-то братом и работавшим на телевидении в Москве. Он был постарше меня, лет на семь, на восемь, совсем, показалось мне, взрослый мужик, я с ним, если быть точным, в полном смысле этого слова и не познакомился, не взял ни его адреса в Москве, ни телефона – зачем? – а так, встретили Новый год в общей компании и встретили, погужевались вместе – и разбежались. Но он тогда говорил об одной вещи, которая мне запомнилась. И не то чтобы запомнилась, а осела в памяти. Осела – и лежала в ней недвижно без напоминания о себе, пока я не увидел своего земляка на телевизионном экране. Это было уже после августовской революции, месяца через два, через три. До того я его никогда прежде на экране не видел, такая у него была работа – за кадром. А тут вошел в Ленинскую комнату – он с микрофоном в руке, и потом, как ни окажешься у экрана, так он там собственной персоной, с микрофоном. И когда я увидел его в пятый-шестой-де-сятый раз, во мне всплыло то, что он говорил в новогоднюю ночь. Он это не мне говорил, разговаривал с кем-то о журналистской профессии, в частности о профессии телевизионного журналиста, а я схватил краем уха. Случайно, не нарочно, так получилось. Тележурналист – не специальность, никакого образования не нужно, тележурналист – это профессия, говорил он. Для тележурналиста главное – хватка. Наглость, напор и умение грамотно формулировать мысли, не лазая за словом в карман. Общекультурный запас, конечно, не помешает, но вовсе не обязателен.

Еще он говорил, что телевидение – это всегда верный заработок, без денег на телевидении не останешься, очень многие люди сейчас рвутся на него показать свой фейс, и всегда есть способы подзаработать. Про деньги тогда я не очень понял, но и это осело во мне и было отнюдь не последней причиной моего желания попасть на телевидение. Что человек без денег? Первобытное существо в невыдубленной шкуре, разжигающее огонь палочкой с трутом. Деньги – фундамент цивилизации, ее несущий каркас и раствор, скрепляющий камни кладки, одновременно. Так, чтобы деньги лезли у меня из ушей – этого мне было не нужно. Но я хотел, чтобы они у меня были в достатке. Чтобы забыть о них, не думать – быть свободным от них для своей свободы. Из которой я сотку тот самый Смысл с большой буквы. И кто знает, может быть, именно там, на телевидении, мне и удастся обрести его.

За дверью по коридору проколотили быстрые детские шажки и замерли около нас. Лека постучала в дверь кулачком и так же быстро, как бежала, прокричала:

– Дядь Сань! К телефону!

– К телефону! – продублировал ее со своей кровати Стас, словно я был глухой и ничего не услышал.

К телефону! Меня подбросило, будто на батуте. Я соскочил на пол и, как был босиком, помчал к двери. Единственно кто мог мне звонить, это тот мой земляк с телевидения. Я его разыскивал, как милиция особо опасного преступника – через всех клинцовских знакомых, выяснил фамилию, имя, редакцию, где он работал, имел номера его телефонов – вплоть до домашнего, но мне нужно было, чтоб он позвонил мне, а не я ему! Я не хотел выступать просителем, жалким представителем самого себя, мой план предусматривал его заинтересованность во мне – я забросил удочку, насадив на крючок наживку, и вот уже несколько дней, подобно рыбаку, прикормившему вожака добычу, ждал, чтобы поплавок повело вглубь. Наживка была хороша необыкновенно, не заглотить ее было нельзя. Так, во всяком случае, мне виделось. И будь я на месте своего земляка, я бы ее заглотил. Непременно.



Телефонный аппарат висел на стене около входной двери. Едва не сшибши с ног Леку, ожидавшую под дверью комнаты моего появления, бросив ей на ходу «спасибо», я стремительным метеором пролетел по коридору и сорвал с гвоздика, специально вбитого в стену рядом с аппаратом, ожидавшую меня трубку. Но к уху я уже нес ее движением, исполненным свинцовой, значительной медлительности.

– Слушаю! – произнес я в нее таким голосом, будто подобных звонков я имел не менее сотни за день, и они были для меня обыденным делом.

– Ты чего это так? – отозвалась трубка через паузу голосом матери. – Я, было мгновение, даже подумала, это не ты.

О, японский гороховой! Меня внутри словно бы продрало ежовой рукавицей. С чего это вдруг я решил, что, кроме моего земляка с телевидения, звонить мне не может больше никто? Вот, пожалуйста: мать. Это мне отсюда звонить им в Клинцы – лишь в случае крайней необходимости, а им сюда – Бога ради, сколько угодно. Или что-то случилось, что она звонит?

– Что-то случилось? – спросил я.

– Почему случилось? – ответно спросила мать. – Просто хотела тебя услышать. Узнать, как дела.

Дела как сажа бела, а как легла, так и дала, крутилось уме-ня на языке. Но я, само собой, так не ответил. Все же это была мать.

– Да мам, да что, да пока ничего определенного, – промямлил я.

Мне было досадно, что я не могу обрадовать ее хотя бы какими-то вестями. Ей бы хотелось гордиться мной, рассказывать обо мне у себя в учительской – какой я выдающийся, успешливый, каких высот достиг, как меня кто-то еще более выдающийся где-то там уважает... Они с отцом заслуживали того, чтобы получать от меня приятные вести. Что я имел в детстве благодаря им – это как раз свободу. Я не знал никаких денежных и иных бытовых забот, хотя над семьей, как я теперь понимаю, всегда витало дыхание нужды, я был одет и обут, всегда сыт, всегда с крышей над головой и с постелью на ночь, и, наконец, я был волен заниматься тем, чего просила душа: то фотографией (и у меня тотчас появлялся фотоаппарат со всей сопутствующей техникой), то живописью (и тотчас появлялись и кисти, и краски, и бумага, и этюдник), играть в футбол, имея дома собственный мяч (которого не имели другие ребята), учиться игре на фортепьяно по индивидуальной программе, чтобы не сдавать пошлейших переходных экзаменов из класса в класс. Я утратил эту свободу, выросши и вступив, как положено говорить, в большую жизнь.

– Нет, ну ты, надеюсь, не лежишь на кровати, не плюешь в потолок, а что-то предпринимаешь? – проговорила мать на другом конце провода, зазвенев голосом.

Я неизбежно ухмыльнулся про себя. Ну да, не лежу, конечно.

– Ни в коем случае, что ты! – сказал я в трубку.

– А твой друг – Станислав, кажется, да? – что у него?

– И он не плюет, – отозвался я, продолжая внутренне ухмыляться.

– Он как, нашел себе уже что-то? Работает?

– Нет, пока еще тоже нет.

У меня не было для нее никаких утешительных новостей. Абсолютно! Никаких! Мать в трубке помолчала.

– Так, а что же у вас с деньгами? – спросила она потом. – Ведь теперь деньги летят, не то, что прежде. Того, что ты взял, осталось у тебя еще?

– Осталось, осталось, – бодро отчитался я.

От того, чтобы попросить денег, я удержался. И, попрощавшись, передав приветы отцу, сестре, повесил трубку и отправился по сумрачному туннелю коридора обратно в комнату преисполненный гордости за себя. Не всякий бы на моем месте отказался использовать ситуацию, в которой не попросить денег было просто смешно.

– Что?! – воззрился на меня Стас с кровати, когда я вошел в комнату.

Я молча прошел к своей кровати, повалился на спину и, как он, воздел ногу на колено другой.

– Ничто! – ответил я ему уже из этого положения, глядя в потолок и прикидывая, удастся ли до него доплюнуть. Доплюнуть не удалось бы наверняка: с высокими потолками строили дома в девятнадцатом веке.

– Нет, ну что «ничто»? Кто звонил? – переспросил Стас.

– Не тот, кто нужен, – сказал я. – Так что готовься грабить и убивать.

Стас не успел выдать мне ответа, только повернул возмущенно голову в мою сторону – в коридоре раздался новый телефонный звонок. Я не слишком плотно прикрыл дверь, и звук звонка, съеденный расстоянием, достиг и нашего дальнего угла в самом конце коридорного туннеля. Меня было вновь подбросило, как на батуте, выстрелило с кровати в сторону двери, но на полпути к ней я натянул вожжи. Это звонили Ульяну с Ниной, с вероятностью в сто процентов без одной десятитысячной, с какой стати должен был нестись, опережая всех, срыывать трубку я? Учитывая наше со Стасом положение квартирантов, это выглядело бы даже и неприлично.

Но все же я так и остался стоять на полпути к двери, прислушиваясь к коридорным звукам. Судя по взвизгу ножек табурета о пол, трубку там снова сняла Лека. «Кого? – услышал я затем ее звонкий голос. Она еще и не просто спросила, а прокричала – видимо, слышимость оставляла желать лучшего. – Александра?!»

«Александра» – это точно было меня.

Я снова рванул к двери, вылетел в коридор и помчал по нему.

– Вы, дядь Сань, сегодня нарасхват, – сказала Лека, протягивая мне с табуретки трубку.

Я принял трубку, помог свободной рукой Леке оказаться на полу и, забыв придать голосу респектабельное достоинство, крикнул:

– Да-да?!

– Привет, – простецки отозвалась трубка, и это была не мать, и вообще не женщина, а значит, это был он, мой земляк. Значит, моя наживка сработала, проглочена, и дальше все будет зависеть от того, как я сумею подсесть свою добычу. – Это вы на фоно брякаете?

Брякаю на фоно! Он меня запомнил. В доме, где я встречал тот Новый год, было пианино, в какой-то момент оно привлекло чье-то внимание, все стали наигрывать на нем кто что мог – от «Чижика-пыжика» до «К Элизе», – меня тоже разобрало, и я, бросив руку на клавиатуру, выдал и вторую часть «Юпитера», и начало сороковой симфонии, и четырнадцатую сонату – все, что было у меня тогда в пальцах, а в пальцах у меня тогда был Моцарт.

– Два года не брякал, – сказал я. – Родине долг отдавал.

Мой земляк понимающе хмыкнул:

– Отдали?

– С лихвой. Вот как раз есть чем поделиться. Сюжет для репортажа.

– Да-да, – не давая мне продолжить, подтвердил, что знает, о чем речь, мой земляк. – Но я, откровенно говоря, не совсем понял из того, что мне передали: чего вы хотите? Вы хотите, чтобы я этот сюжет снял?

– Ну-у, я думал. – заблеял я.

– Если вы предлагаете мне, – перебил меня мой телефонный собеседник, – то я сейчас сам практически не снимаю. Можно, конечно, кому-нибудь перекинуть. А если хотите вы – давайте попробуем.

– Да я бы вообще. я думал... – снова заблеял я.

Он предлагал мне то, что, я полагал, мне придется выдирать в жестокой борьбе, я приготовился к ней, сгруппировался – и оказался не готов к тому, чтобы принять его предложение.

– Что вы думали? – спросил меня мой собеседник.

– Нет, я с удовольствием, – решительно ломая выстроенный вокруг себя забор из неловкости, неуверенности и прочих подобных чувств, быстро проговорил я.

– Тогда давайте подъезжайте. Записывайте, как ехать, я закажу пропуск, – произнесла трубка.

Мне не нужно было ничего записывать, я все запомнил так, каждое слово, с первого раза.

Ворвавшись в комнату к Стасу, я схватил его за ноги и стащил с кровати на пол. Мне нужно было сделать что-то такое. Стас ругался и грозил мне – я, однако, не отпускал его, пока хорошенько не покрутил по полу на спине.

– Ништяк, пацан! – прокричал я, наконец, отпуская Ста-са. – Грабеж отменяется! Переходим к честной зажиточной жизни!

О, эти дикие джунгли бесконечных останкинских коридоров! Попавши в них раз, выбраться из них уже невозможно. Они затягивают в себя, будто изумрудная болотная хлябь неосторожного путника. Они сжирают тебя с каннибальской безжалостной свирепостью. Схрюпывают, словно крокодил свою жертву. Растворяют в себе, как актиния случайно заплывшего в ее невинно разверстый зев рачка.

У моего земляка была легендарная маршальская фамилия Конев. Хотя он просил проносить ее с ударением на втором слоге: Конёв. Бронислав Конёв. Мы, Конёвы, люди гражданские и ни к артиллерии, ни к кавалерии отношения не имеем, любил приговаривать он в случаях, когда речь заходила о его фамилии. Впрочем, в жизни он отличался истинно кавалерийской лихостью. Мой сюжет, едва я начал расписывать всю его неповторимую уникальность, он зарубил с безоговорочной решительностью – будто полоснул шашкой: «Нет, это теперь не имеет смысла. Это при коммунистах важно было – показать, какой у них бардак кругом. Теперь власть поддерживать нужно. Зачем мы ей в нос будем тыкать, какое ей наследство досталось?»

Я предлагал ему сделать сюжет о части, где служил. Показать, как охраняется штаб ПВО. Я же знал, как он охраняется. Знал, как и где пройти на территорию, устрашающе, на первый взгляд, отделенную от остального мира колючей проволокой. А сейчас, например, настала самая грибная пора, и, договорившись с часовым, за бутылку можно было вволю побродить по заповеданному лесу, наломать, пока его смена, корзину белых. Последнее время я смотрел телевизор с одной целью – понять, что там требуется, и мне казалось, за мой сюжет схватятся обеими руками. Вроде, казалось мне, самое то, чтобы «клюнуть». Поэтому я и позволил себе, подбираясь к Конёву, поинтриговать, напустить загадочного тумана про военный объект государственного значения, про угрозу государственной безопасности. А он, получается, клюнул на того земляка двухсполовинолетней давности, что «сбрыкал» в новогоднюю ночь на фоно. Даже и не клюнул, а просто отозвался благожелательной судорогой памяти – что-то вроде того. Но я столько вынашивал свой сюжет, так пестовал его в себе, представляя, какие картинки давать, что говорить, что за интервью взять у кого-нибудь из местных жителей – так, чтобы стало ясно, какова истинная степень секретности спрятанного в лесу бункера, – что, несмотря на сабельный отказ Конёва, попробовал сохранить жизнь своему детищу. Да кроме того, ничего другого предложить Конёву я и не мог.

– Но вроде, я смотрю телевизор, такого рода все и идет. Почему же об армейском бардаке не сказать?

Конёв засмеялся и одобрительно похлопал меня по плечу:

– Хорошо, хорошо! Без зубов в Стакане нельзя. Чуть что – и показывай. Травоядные в Стакане, помни, не выживают. Но и английскую пословицу нужно помнить: «Не можешь укусить – не оскаливайся».

Так в первое же свое посещение Останкино в одном флаконе с его обиходным прозвищем я получил и главнейший останкинский урок поведения.

– Нет, а все-таки? По-моему, это было бы интересно, – попытался я настоять хотя бы на каком-то вразумительном ответе.

И получил его:

– Поймешь, когда научишься нюхать воздух. Сечешь, что это такое? Нюхать воздух – первейшее дело в Стакане. Что ты мне: такого же вроде рода! Такого, да не такого. Армия теперь чья? Новой власти. А что такое армия? По сути, сама власть. А власть чья? Наша, демократическая. Что же мы сами о себе плохо говорить будем?

Этот пассаж про воздух был второй урок поведения, преподанный мне тогда Конёвым. Все остальные его уроки носили уже характер технический.

Помню, я потерялся. Наш разговор происходил в маленькой тесной комнатке с двумя ободранными канцелярскими столами светлого дерева, несколькими стульями и продавленным креслом между столами, из широкого окна открывался вид на кипящий зеленым с промоинами желтого, уходящий к небесному куполу парк, я стоял вполоборота к окну, глянул в него на штормящее под первым осенним ветром зеленое море – и такая тоска утраты пронзила меня! Ведь я уже чувствовал и эту убогую комнатку, и этот вид из окна своими, я уже успел присвоить их, сжиться с ними, неужели мне придется отдать все обратно, неизвестно кому, так ничем и не овладев?

Конёв, однако, снова похлопал меня по плечу:

– Хочешь выходить в эфир – будешь выходить, это – как два пальца обоссать. Сюжетов вокруг – вагон и маленькая тележка. Буду подбрасывать по первости. Потом сам глаз отточишь.

Он вел себя со мной так же по-простецки, как начал, позвонив по телефону. Единственно, что по телефону он обращался ко мне на вы, при встрече же сразу перешел на ты. Мне было не совсем уютно от этого – я все-таки не смел ответно тыкать ему, – но что стоило чувство внутреннего дискомфорта в сравнении с теми горизонтами, которые открывал мне Конёв своим патронированием?! О, я прекрасно отдавал себе отчет, что он делает для меня. Человек всегда знает истинную цену оказываемой ему услуги. Можно эту цену набивать, пытаюсь представить ее много выше реальной, – настоящая цена будет торчать из-под ложной, как шило из мешка. Цену того, что делал для меня Конёв, вообще невозможно было измерить.

А ведь в ту новогоднюю ночь он мне скорее не понравился. Сколько я себя помню, я всегда очень доверял своему первому впечатлению о человеке, и, увидев его тогда, еще подумал о нем как о не очень приятном типе.

А увидел я крупнотелого мясистого человека под метр девяносто, с длинными прямыми волосами до плеч, с маленькими кабаньими глазками, глядящими на тебя, словно в приступе ярости, с маленьким жестким ртом, подобранным в подобие скобки, лежащей на спинке, концами вверх.

За эти два с лишним года он не особо изменился, разве что еще больше помясистел, но вот я смотрел на него – передо мной был человек, полный душевного обаяния и сердечной открытости, глаза ему от природы, действительно, достались по-кабаньи маленькие, но они светились доброжелательностью и приязнью к миру, а его лежащая на спинке, загнутая концами вверх скобка рта означала постоянную готовность к улыбке, не что иное. Как меня угораздило в ту новогоднюю ночь увидеть в нем неприятного типа? Вероятней всего, решил я позднее, анализируя свое новогоднее впечатление, то с моей стороны была неосознанная зависть. Я позавидовал успешности Конёва. Тому, как он ловко и удачливо управляет своей судьбой. Никто из нас не свободен от чувств, за которые задним числом бывает стыдно. Главное, вовремя признаться себе в подлинном качестве этих чувств.

– Гляди, если готов, можешь прямо сейчас на съемку и дернуть, – предложил мне Конёв.

Немногим более часа спустя я уже трясся в кабине такого же оббитого, обшарпанного, как комната, в которой мы с Конёвым вели разговор, дребезжащего всеми своими механическими сочленениями «рафика» брать для блока новостей завтрашней утренней программы, где Конёв был ведущим, интервью у какого-то подмосковного пчеловода, чей мед только что получил медаль на выставке и пользовался большой популярностью у капитанов зарождающе-

гося частного бизнеса. Вместе со мной в кабине тряслись оператор с камерой, которую он, несмотря на ее вес, бережно поставил себе на колени, звукорежиссер со своими объемными кофрами, набитыми записывающей аппаратурой, двое осветителей, втащивших внутрь вдобавок к операторскому штативу длинные металлические стойки для ламп – это была пора, когда камер «Бетакам», позволяющих на подобных съемках обходиться и без звукорежиссера, и без осветителей, имелось на все Останкино полторы штуки, и на съемку приходилось выезжать такой могучей бригадой. Всего вместе со мной, посчитал я, пять человек. И я был главой этой бригады, все должны были подчиняться мне, слушать, что я скажу, следовать моим указаниям и высказывать свое несогласие только уж в самом крайнем случае. Вместо меня к пчеловоду должен был ехать какойто штатный корреспондент, – Конёв быстро переоформил все бумаги, вписал в наряд мою фамилию, подмахнул у начальства, и вот я, прибалдевший от всего происшедшего (и не слегка), оказался в этом поставленном на колеса металлическом корыте, водитель оглянулся на меня: «Поехали?» – и я, усиленно стараясь придать выражению своего лица необходимую важность, кивнул: «Конечно».

Один из осветителей был осветительницей. Мне кажется, выражение «запомнил на всю жизнь» как нельзя лучше передает то впечатление от нее, которое я вынес из этой поездки.

– А вы стажер, да? Ну, что-то вроде того? – залихватски произнесла она, едва мы тронулись.

– Ну да. вроде того. почему стажер? – продолжая держать на лице выражение значительности, не проговорил, а скорее выдавил я из себя.

– А молодой потому что! – воскликнула осветительница. Ей было, видимо, лет тридцать пять, такая крепкотелая,

тугосбитая баба с крепкотугим говорком – из тех, которые всегда твердо знают, что хотят, и так же твердо убеждены: чего они хотят, то должно быть их и по их.

На этот раз от необходимости выжимать штангу в поисках ответа меня избавил звукорежиссер.

– А теперь корреспонденты все молодые, – сказал он вместо меня. – Вон мы вчера репортаж с биржи делали – какая девчушка была? И на прошлой неделе, из дома-музея. Все молодые. Учатся и работают. На журфаке МГУ учитеесь? – обратился он ко мне.

– Ну. вообще. если быть точным. – замычал я.

– Третий курс, наверное, да? – с прежней залихватско-стью, будто уличая меня в неблагоприятном поступке, но по сердечной доброте готовая простить за него, спросила осветительница.

И снова мне помог звукорежиссер.

– А если и первый? – опередив меня, спросил он. – Сейчас молодые, они вон какие! Не нам чета в их возрасте.

– А я не в твоём возрасте, меня к себе не пристегивай! – проголосила осветительница.

– Да я тебя к себе? Ни в коем разе! – то ли всерьез, то ли насмешничая, оправдался звукорежиссер.

Он был уже весьма пожилкой, и в его отношении ко мне – я это сразу так и почувствовал – сквозило отцовское чувство. Правда, с оттенком превосходства. Уязвленного превосходства – вот как. Словно бы под моим началом оказался сам Зевс, болезненно раненный утратой своего абсолютного верховного положения. Я потом обратил внимание: звукорежиссерами почему-то работали исключительно пожилые. Молодых – почти никого. Не знаю, поэтому или нет, но с ними работать было легче всего. С осветителями, с теми все время приходилось бороться. Они никогда не могли выставить свет так, как тебе требовалось. Этим они напоминали видеоинженеров. У тех тоже на все имелось свое мнение, и, когда монтировал, чтобы получить желаемый результат, нужно было наораться с ними до посинения.

– Я после армии, – сумел я наконец, собравшись с духом, ответить осветительнице что-то вразумительное. И не имевшее к ее вопросам никакого отношения.

Признаться ей, что никакой не стажер, нигде не учусь и вообще с улицы, я не мог.

Однако же странным образом моя нелепая фраза об армии оказала на осветительницу поистине магическое действие.

– А, после армии! – удовлетворенно проговорила она, словно получила ответы на все, чем интересовалась.

По-видимому, армия в ее сознании была такими университетами, что они вполне заменяли все прочие, давая право на занятие любым видом человеческой деятельности.

Оператор с бережно поставленной на колени камерой сидел курил, выдыхая дым в приоткрытое окно, и не вмешивался в разговор. Это был узколицый, светловолосый и светлоглазый человек с выражением отстраненной презрительности на лице, – казалось, он знает о людях какую-то такую правду, что у него уже ни к чему на свете нет любопытства. Я на него очень надеялся. Конёв сказал, что он оператор экстракласса, все, что необходимо, снимет сам, не нужно ничего указывать, и крупные планы, и общие, и антураж, и пейзаж – в общем, все, и с запасом, будет из чего клеить картинку, а мне главное – позадавать в кадре пчеловоду вопросы и чтобы он что-то намычал на них. Конёв так и сказал: «намычал». «Если что путное намычит, – разъяснил он, увидев мой недоуменный взгляд, – дадим в эфир прямым текстом. Если нет – пусть открывает рот, наложим свой текст поверх его».

Мычал, впрочем, больше я, чем он. Пчеловод оказался весьма словоохотлив и красноречив, никакой не старый дед, как я почему-то ожидал, лет сорока, хотя и с бородой, лежавшей на груди темно-русой кустарниковой зарослью, он молотил языком, показывая нам свое улейное хозяйство, без передыху, сыпая такими афоризмами житейской мудрости, что Шопенгауэру впору было бы, восстав из гроба, сжечь свою знаменитую книгу, а вот я, встав перед камерой с микрофоном в руках, чтобы произнести несколько фраз, как мне рекомендовал Конёв, в глаза будущим зрителям, затыкался на каждом слове и, когда отблеялся, почувствовал, что мокр как мышь – с головы до пят, а по крестцу течет бурный поток.

Вся бригада получила от пчеловода в подарок по банке меда. Для передачи Конёву тоже была дана банка. «Это, значит, к тому, что он уже получил, – ласково похлопывая банку по гладкому круглому боку, сказал пчеловод, когда вручал мне конёвский мед. – Воеводою быть – без меду не жить, так нам отцы наши заповедали. Не заиграйте только, непременно отдайте. Уговор дороже денег». – «Попробует заиграть – мы ему не позволим», – тотчас же влезла со своим комментарием осветительница.

В машине на обратном пути она пристала ко мне, требуя обменять свою банку липового меда на донниковый, который пчеловод передал для Конёва.

– Ну так а чего, а тебе не все равно? – сыпала она напористым крепкотугим говорком, сползши со своего сиденья на край и упираясь круглыми, похожими на шары коленями в мои голени. После трех часов, проведенных в тесном общении, всякое почтение ко мне как к старшему выветрилось из нее подобно дешевым духам с зауший. – Давай махнемся, давай! Конёв ничего и не поймет, ему что липовый, что донниковый – без разницы. Вы же мужики, у вас вкус какой? Грубый у вас вкус. А я липовый не очень, а донниковый мне – вот самое то. Самый мой мед! Что тебе не махнуть? Женщина тебя просит! Я и не должна просить, я пожелала – ты тут же сам, по своей инициативе должен был махнуть со мной!

Я отказывался, стойчески являя собой внешнюю непреклонность, но внутри, похоже, был готов сдаться, опасаясь, что в случае моего окончательного отказа она снова обратится к теме моей профессиональной подготовки.

Звукорежиссер, поглядывая на нас из своего конца трясущегося «рафика», похмыкивал. Но уже не вступался за меня, молчал. Я только что, осуществляя свои профессиональные функции, как бы у меня то ни выходило, руководил, главенствовал, пчеловод общался исключительно со мной, через меня передал мед Конёву, – и теперь звукорежиссер оконча-

тельно чувствовал себя Зевсом поверженным. А с какой стати поверженный Зевс будет кому-то покровительствовать?

Оператор, все так же с камерой на коленях, снова смотрел в окно, снова курил, склоняясь к щели в нем, чтобы выпустить дым, и вроде не обращал на наш разговор никакого внимания. Сигарета у него догорела до самого фильтра, он выдохнул дым в последний раз, выбросил окурочок наружу, задвинул оконную створку и глянул на осветительницу:

– Отстань от человека.

В интонации, с какой оператор произнес это, словно бы прозвучало предупреждение, что знает о ней такое – не дай Бог, чтоб высказался: ей придется жалеть о том до окончания веков.

– Ну так если не хочет, так, конечно, чего, – тотчас послушно отозвалась на его приказание осветительница, заставив меня почувствовать себя неодушевленным предметом, и больше за всю оставшуюся дорогу уже не заговаривала со мной.

Я мысленно поблагодарил оператора за это неожиданное и столь результативное заступничество. Тем более что теперь, на обратном пути, я не мог позволить себе никаких разговоров. Мне нужно было до возвращения в Останкино обдумать, как выстроить отснятый материал и какой текст произнести. В голове у меня, бесплодно вея песком, расстилалась пустыня Сахара. Тот репортаж о моей бывшей части стоял перед глазами и звучал в ушах – будто снятый, а тут я не представлял ничего: ни видеоряда (словечко, которым я уже успел разжиться), ни будущего текста. Я не понимал, что такого интересного можно сказать об этом пчеловоде. И зачем вообще показывать его по телевизору?

Машина уже въехала в Москву, уже крутилась по вечеряющим улицам, перемахивая с одной на другую, неумолимо подбираясь к телецентру все ближе и ближе, а у меня по-прежнему не было ясного представления, что мне делать с моим пчеловодом. Я запаниковал. Мой первый блин грозил оказаться последним.

Конёв меня ждал.

– О, роскошно! – принял он банку с медом, которую пчеловод передал для него, и скобка его рта выгнулась в улыбке удовольствия крутым полуovalом. – Вот попробуем, что у него за мед такой знаменитый.

– А я понял, что он уже давал вам, – сказал я.

– Давал? – недоуменно переспросил Конёв. И закивал: – А, ну да! Но еще не добрался. Не попробовал еще. – Он открыл стол, поставил банку с медом в ящик и, выпрямившись, выставил указательный палец, указывая на кассету с пленкой у меня в руках. – Продумал сюжет, как клеить? Текст по дороге накатал?

Паника, душившая меня, выплеснулась наружу сбивчивой скороговоркой про низкую содержательность, отсутствие интересной информации, невозможность внесения сверхзадачи...

Конёв всхотнул, взял у меня из рук кассету, обнял за плечи и подтолкнул к выходу из комнаты.

– Какая такая сверхзадача? Откуда этих умностей нахватался? Пойдем монтировать. Помогу по первому разу. Поделюсь секретами мастерства. Содержательность ему низкая. Ехали – дорогу сняли? Из окна машины?

Я вспомнил: раза два или три, еще по пути к пчеловоду, оператор поднимал с коленей камеру, открывал окно во всю ширь, выставлял наружу объектив и, выгнув спину дугой, подобно большому коту, всаживался глазом в окуляр, что-то щелкало под его рукой, и камера принималась жужжать.

– Да, сняли дорогу, – подтвердил я.

– Ну вот, я же знал, что он снимет, – сказал Конёв. Мы уже вышли из комнаты и быстро шли пустынным, погруженным в мертвый люминесцентный свет бесконечным коридором.

дором куда-то в монтажную. – Монтируем, значит, бегущий за окном подмосковный пейзаж, рассказываем, куда едем, как едем. Дом он его снял? Пасеку?

– Снял, – снова подтвердил я.

– Отлично, – одобрил Конёв. – Даем дальше картинки дома, пасеки. Рассказываем о нашем герое. Что он, кто он, чем занимался раньше, до пасеки, как дошел до жизни такой. О себе он что-то намычал?

– Еще сколько! – начиная воодушевляться, воскликнул я.

– О чем тогда базар? – ответно воскликнул Конёв, и, надо отметить, это я от него впервые услышал тогда слово «базар» в значении «разговор». – Дальше клеим, как он разливается о себе, как водит тебя по пасеке, потом вставляешь собственную личность с микрофоном – чтоб засветиться. И все, хорош, народ в восторге. Народу ведь что нужно? В щелочку заглянуть, чужую жизнь подсмотреть! Вот мы ему и даем подсмотреть. А больше народу что? А больше ему ничего и не нужно!

В монтажной этажом ниже нас ждали. Конёвым все было организовано, подготовлено – словно разожжена, раскалена печь, только ставь сковороды с кастрюлями и пеки, жарь, вари. Он усадил меня на стул рядом с видеоинженером, стоя за спиной, просмотрел отснятую пленку, бросил видеоинженеру: «Четыре с половиной минуты, десять секунд люфту, не больше», – и похлопал меня по плечу:

– Встречаемся там же, наверху. Пишешь текст, глянем его – и двигаем озвучиваться. Клей! Как договорились.

– Ну? – едва за Конёвым закрылась дверь, посмотрел на меня видеоинженер, держа руки перед собой на пульте. – С чего начинаем? С дороги, что ли?

– С дороги, с чего еще, – произнес я бывалым голосом, будто наклепал, отштамповал, отмонтировал уже не один десяток таких сюжетов.

Был почти час ночи, когда мы с Конёвым вышли из стеклянного куба Останкино на улицу. Воздух был по-осеннему ярко свеж, меня в моем легком дневном одеянии – рубашке с засученными до локтей рукавами, надетой на голое тело, – мигом спеленало безжалостной, суровой прохладой, но зябкости я не почувствовал: я был разогрет внутри до температуры кипения стали, и эта ночная прохлада только приятно остужала меня.

Назавтра в семь утра мы все: я со Стасом, Ульян с Ниной и даже Лека, которая, чтобы успеть в школу, спокойно могла бы подряхнуть еще полчаса, как штык, торчали перед телевизором. Телевизор у Нины с Ульяном стоял на кухне – как месте общего пользования, – можно было бы подавать на стол, готовить завтрак, но вместо этого все расселись на стульях и мертво вросли в них. Конёв на пару с ведущей-женщиной объявляли сюжеты, комментировали их, делали подводки (я оснастился уже и таким термином), сюжет следовал за сюжетом, а мой пчеловод все стоял где-то на запасном пути. «Ну так что? Где ты? Когда тебя? Ты не перепутал ничего? Точно это сегодня должно быть?» – находили нужным время от времени, томясь нетерпением, спросить меня то Ульян, то Нина, то Стас. И больше всех исходила нетерпением Лека: «Дядь Сань, ну когда? А может так быть, что совсем не дадут?»

Я был способен отвечать только нечленораздельными междометиями. Мычать – вот уж в полном смысле этого слова. Хотя надежда меня не оставляла. Я вообще считаю, что надеяться на положительный исход любого, даже гиблого дела – это более верно, чем предаваться отчаянию. Если, конечно, надежда не покоится на голом желании, а обоснована какими-то разумными обстоятельствами. Я уповал на то, что Конёв вчера так вложил в этот сюжет о пчеловоде. В известной мере это ведь был и его сюжет!

Мой голос зазвучал из динамиков, а на экране побежал подмосковный пейзаж, снятый из окна машины моим оператором, без всякой подводки – вдруг, сразу после предыдущего сюжета. Постояла-постояла в глухом молчании заставка программы – и экран ожил, а из динамиков зазвучал голос. Я себя не узнал, я и понятия не имел, что у меня такой голос, я увидел



кадры пейзажа, удивился – как похожи на мои, но Стас, больно двинув меня под ребра локтем, завопил с удивлением, тыча пальцем в телевизор и переводя взгляд с экрана на меня, с меня на экран:

– Так это же ты!

Похоже, до этого мига он все же не верил в мой рассказ о вчерашнем дне.

– Тихо! Не мешай! Молчи! – жарко набросились на него Ульян с Ниной.

– Не мешай! – страстно подала свой голос и Лека.

Я сидел, смотрел, как то, что вчера было бесформенной, текучей жизнью, сегодня, вправленное в рамку экрана, представало сюжетом, и теперь, подобно Стасу минуту назад, в то, что происходящее – реальность, не верил уже я сам.

Я не верил – и, однако же, это было реальностью. Самой подлинной, реальнее не бывает. Задуманное осуществилось, то, чего я хотел, удалось, желание мое облеклось в плоть.

Произнесенная моим голосом, с экрана прозвучала моя фамилия, фамилия оператора, кадр со мной, держащим микрофон перед губами, исчез, заместясь кадром с Конёвым и его напарницей-ведущей, и меня сорвало с места, я вылетел на середину кухни, подпрыгнул, выбросив над собой руки, подпрыгнул еще, а потом бросил руки вниз, на пол, с маху встал в стойку и пошел на руках в коридор.

Я прошел на руках до самого конца коридора, до запертой на щеколду двери ванной, общей с другой квартирой. Постоял около нее, упираясь ногами в притолочный плинтус и, обессиленный, опустил ноги.

Стас, Ульян, Нина, Лека – все толклись передо мной. Я встал на ноги – и на меня обрушился их четырехголосый шквал поздравлений. В котором самым внятным был звенящий голос Леки.

– Дядь Сань, я вас люблю! Дядь Сань, я вас люблю! – кричала она.

Потом я различил голос Стаса. Он вопил:

– Ништяк, пацан! Заломил Москву! Так с ней! Чтоб знала нас! И сыты будем, и пьяны, и нос в табаке!

– Будем! Еще как! – с куражливой победностью, в тон ему отозвался я. – Дадим Москве шороху!

Надо признаться, я не люблю, когда из меня вдруг вымахивает такой кичливый болван. Потом, как правило, я жалею, что не сдержался и не вел себя трезво и рассудительно. Все же в любом буйстве, в том числе и счастливом, есть нечто, что унижает человека. Во всяком случае, не возвышает его.

Но тогда, наверное, было не в моих силах – сдержаться. Черт побери, все же это произошло впервые в моей жизни – мое явление с экрана.

## Глава третья

К середине осени, к поре, когда ветра вычесали пожелтевшую гриву могучего лесопарка под окнами телецентра до черной паутиной голизны, я снял еще пять или шесть сюжетов, из которых не пошел в эфир только один, обзавелся в Стакане кучей знакомых, стал на канале своим, и в кармане у меня, в середке паспорта, лежал подписанный руководителем программы полугодовой пропуск, позволявший проходить в здание центра в любое время дня и ночи. Правда, я был внештатником, то есть нигде и никак официально не оформлен, без всякой зарплаты, один гонорар, но это меня ничуть не смущало и нисколько не волновало; в конце концов, не все сразу, а кроме того, мое неофициальное положение получше всякого стража охраняло мою свободу: я был волен над своим временем – когда прийти, когда уйти, никаких обязательств перед начальством по пустому отбыванию положенных рабочих часов. «Попасись пока на длинной привязи, – обсуждая со мной мое будущее, сказал Конёв. – Время сейчас видишь какое. Сейчас никого не берут, наоборот, всех увольняют. Надо момент ждать. Начальство тебя отметило, держит на прицеле, видит, что ты тянешь. Работай, оглядывайся – и все утрамбуется».

Осень, помню, стояла холодная, но сухая, и это меня очень радовало: можно было обходиться без зонта. Зонта у меня не имелось, а купить зонт – не имелось денег.

С деньгами вообще было невероятно скверно. Гонорары оказались тощи, как подавание скупого. Сюжет, прошедший в эфир, равнялся в денежном эквиваленте десятку буханок хлеба. В буфете Стакана, когда возникала нужда пойти туда с кем-нибудь почесать языки, убить полчаса-другие, пока начальство в своих высоких кабинетах решает судьбу твоего творения, я мог позволить себе только стакан кофейной бурды. Другие ели, ковыряли вилками котлету или рыбу, ругали скверно приготовленную еду (это был не нынешний роскошный буфет, в котором – что угодно твоей душе, а еще прежний, оставшийся от советских времен), я неторопливо тянул свою бурду, стоически делая вид, будто сыт и, кроме этого кофея в граненом стакане, ничего мне не нужно.

На самом деле есть хотелось страшно, хуже, чем в армии в первые месяцы. Все время, без конца. Хотелось мяса, мяса, мяса, а приходилось мять хлеб, хлеб, хлеб.

Тогда же, в середине осени, я начал подрабатывать у Ста-са в киоске. Стас, подождав-подождав помощи от двоюродного брата, устроил свою судьбу сам: пошел по новоарбатским киоскам, во множестве выросшим за этот год на его просторах, прибаваться к купеческому сословию – от одного киоска к другому, от одного к другому. Где его посылали подальше, где что-то не устраивало его, в десяти, двадцати, тридцати – не знаю скольких – ему обломилось, но в каком-то, затребовав у него паспорт, изучив, выписав все данные, Стаса тут же усадили за оконце – и понеслась его гражданская жизнь вперед уготованным ей путем.

Деньги у него завелись с первого же дня, как он сел за окошечко, на них мы и мяли наш хлеб, но сколько же я мог кормиться за его счет? Стас, начав с намеков, потом и прямо объявил, что мог бы составить мне протекцию к себе в киоск, сидеть там с ним в очередь, и, потянув некоторое время, я вынужден был принять его предложение.

Я, в основном, сидел за окошечком ночью, чтобы днем хоть на час-другой да заскочить в Стакан, понюхать, как учил Конёв, воздух – чем пахнет, но чаще дело часом-другим не ограничивалось, особенно если нужно было готовить съемку, а то и сюжет к выпуску в эфир, и я, только возникала такая возможность, тотчас засыпал, даже и стоя, словно лошадь, – в метро, в троллейбусе, не говоря уже о сидячем положении. Деньги, однако, завелись и у меня, я теперь не нахлебничал, отстегивал в наш бюджет сколько надо и смог позволить к кофею в буфете пирожок, а то и два. О, в эту осень я понял, что такое деньги. Этот будто бы эквивалент товара. Какой к черту эквивалент! Основание цивилизации! Альфа и омега существова-

ния. Краеугольный камень всей жизни. И как просто ковать деньги, когда ты имеешь дело с непосредственным обменом товара на этот краеугольный камень. Бутылку воды хозяин киоска поставил тебе продавать за двадцатку. Но что мешает затребовать за нее – да в ночное-то время, когда, если в чем возникла нужда, то купишь непременно, – весь четвертак? Пять рублей чистой прибыли да еще пять – вот тебе и десять. И вот тебе двадцать, тридцать, сорок.

Стаса такое устраивало, ему это даже понравилось, вызывало азарт. Он уже не вспоминал о своем намерении делать что-то собственными руками – производить, быть радиомонтажником. Он втягивался в бизнес держателя киоска все глубже, и я видел – это ему ничуть не в тягость, а в радость и удовольствие. Держатель киоска уже привлекал Стаса к оптовым закупкам для всех своих точек, которых у него был целый десяток, к участию в переговорах с поставщиками, улаживанию конфликтов, что постоянно возникали у него с некими казаками, с которыми держатель состоял в каких-то особых партнерских отношениях.

Стас пытался втянуть в эти дела и меня – я отбил. Что бы я ни понял про фундамент цивилизации, купеческое дело было мне чуждо. Если бы не крайняя необходимость, я бы ни за что не занялся им. Все же деньги можно ковать не только непосредственным обменом на них товара. Недаром же Станиславский, принадлежа к купеческому сословию, предпочел артистическую среду.

В буфете Стакана, еще когда я не мог позволить себе пирожка, в один прекрасный день в очереди у буфетной стойки мой глаз выловил знакомое лицо. Девушка стояла в самом конце очереди, еще двигаться и двигаться, в нетерпении постукивала по полу туфелькой и, внутренне негодуя (что так и было оттиснуто в выражении ее глаз) на неизбежность бессмысленной траты времени, чтобы не видеть раздражавшей очереди впереди, невидяще глядела в сторону зала, взяв себя одной рукой за локоть другой, которая, с зажатым в ней кошельком, в противоречие с выражением глаз, мило и трогательно была опущена вдоль бедра. Девушка стояла так и стояла, лицом к залу, вся открытая моему взгляду – узнавай, припоминай, кто такая, но, сколько я ни всматривался в нее, понять, откуда мне знакомо ее лицо, я не мог. Или это мне лишь показалось, что знакомо? Кого я знал в Москве, кроме тех, с кем познакомился уже здесь, в Стакане? А их мне не нужно было узнавать, я их просто знал, и все.

Потом случилось, что мы прошли с ней навстречу друг другу по коридору. Теперь я узнал ее еще издали, не видя лица, – по фигуре. Но когда черты лица сделались различимы, как я ни пялился на нее (и даже оглянулся, когда разминулись), так мне и не открылось, почему она кажется мне знакомой.

Следующая наша встреча произошла в лифте. Я вскочил в готовую к отправке кабину, уже набитую до отказа народом, обтоптался на своем пяточке, глянул на панель, нажата ли кнопка моего этажа, и тут, отводя от нее глаза, почувствовал устремленный на себя взгляд. Это была она. Стояла в противоположном углу лифта и бесцеремонно разглядывала меня – как до того при встрече в коридоре разглядывал ее я. Ну, приятно, когда так глазекуют, говорил ее взгляд. Я, однако, не отвел глаз, и это была вынуждена сделать она.

И наконец мы оказались все в той же буфетной очереди рядом. Я стоял в самом ее конце, спиной к залу, разглядывая витрину, кто-то подошел, обосновался за мной, я посмотрел: кто? – и увидел, что это она. Было бы верхом идиотизма не заговорить с нею.

– По-моему, мы с вами где-то встречались, – сказал я.

– Да? – Она прыснула. Не хмыкнула, не засмеялась, а именно прыснула – словно внутри ее так и бросило в хохот, но она изо всех сил пыталась сдержаться. – Несомненно встречались. По-моему, в этих же стенах, только в иных обстоятельствах.

Она договаривала – я уже знал, кто она. Я даже знал ее имя. Она прыснула – и тут же я увидел ее не только в других обстоятельствах, но и в других стенах. Она выпорхнула к нам со Стасом из глубины квартиры легким цветным мотыльком в сопровождении целого мотылько-

вого роя, несшего внутри себя черно-белые вкрапления жуков, «Ира!» – шагнул к ней Стас, она взгляделась в него и, ойкнув, приснула: «Вы в самом деле? И с другом!»

Было мгновение – я хотел открыться ей, где и в каких обстоятельствах мы встречались, но вовремя прикусил язык. Возможно, именно тогда впервые я осознал со всею осмысленностью, какое упоительное чувство могущества дает тайное знание о человеке, когда он даже и не догадывается, сколько и чего ты знаешь о нем. Что говорить, события того вечера жгли меня горячим чувством униженности, откройся я ей – и они тотчас бы встали между нами непреодолимой Китайской стеной. Униженному в наследство от столкновения достается слякоть ненависти, унизившему – холод презрения. Соединение их может дать только гремучую смесь. А я за то время, как впервые обратил на нее внимание, когда она стояла здесь, взяв себя рукой за локоть другой, опущенной вдоль бедра, успел разогреть себя в своем интересе к ней, мысленно привык к ней, она уже сделалась для меня объектом возможных посягновений с моей стороны – и отнюдь не ради простого знакомства. Она была весьма недурна. Она мне нравилась. Мне бы хотелось оказаться с нею в постели. Зачем мне было отказываться от этого? Не открываясь ей, я наглухо замуровывал свое унижение, уничтожал его, как уничтожал и ее презрение, мы становились с ней квиты, я поднимался с ней вровень, – и там уже дальше всему должен был пойти новый отсчет и счет. Все с чистого листа.

– Надо же как-то затеять разговор, – сказал я в ответ на ее самоуверенное, но ошибочное замечание о месте нашей предыдущей встречи.

– Не оригинально, – парировала она.

– Зато наверняка. Люблю, чтобы наверняка.

– Как это пресно.

– Тем не менее. Люблю, – подтвердил я.

Что напрочь не соответствовало истине. Уж чего-чего, а вот этого – любви к «наверняка» – за мной никогда не водилось. Вернее было бы сказать, что наоборот.

– Наверняка – удел посредственностей, – сказала Ира.

В голосе ее, однако, в полном противоречии с произнесенными словами прозвучало несомненное поощрение моим донжуанским притязаниям. Я понял, что шанс у меня есть.

– Или гениев, – сказал я. – У нас, знаете, недостает времени размениваться на ошибки.

– Вы себя считаете гением? – вновь слегка приснув, спросила Ира.

– Ни в коем случае, – заверил я. – Мнение друзей, знакомых и прочих окружающих. Мне остается только принять его.

Тут я тоже согрешил против истины. Если я и не считал себя гением, то уж кем-то сродни ему – это точно.

Так мы стояли, мололи языками – и вдруг оказались уже перед буфетчицей.

Этот наш разговор происходил в то время, когда я стал позволять себе к стакану кофейной бурды пирожок-другой. Поэтому, очутившись перед буфетчицей, я решил завершить клееж фигурой высшего пилотажа.

– Что мадемуазель собирается вкушать? – с небрежностью человека, чьи карманы трещат от банкнот, спросил я, обращаясь к Ире. При этом почти не сомневаясь, что она откажется.

Но она согласилась! В глазах ее даже промелькнуло то выражение, которое нельзя определить иначе, кроме как «чувство глубокого удовлетворения». Похоже, если бы я не предложил заплатить за нее, она была бы обескуражена и оскорблена.

Она взяла полный обед: салат, лангет и даже пирожное к чаю, – так что я опустошил свой кошелек на неделю вперед.

Мой спутник, с которым мы собирались обсудить за кофе кое-какие проблемы (вернее, это собирался я, а он не имел и понятия, что собирается что-то обсуждать), молча, не произнеся ни слова, присутствовал рядом с нами – и пока мы стояли у стойки, и пока сидели за столом,

и шли затем к лифтам, чтобы, сев, выйти наружу уже каждый на своем этаже. Он разомкнул рот, только когда мы остались с ним вдвоем.

– Имеешь представление, кого клеил?

Это был тот самый оператор, с которым я выезжал на свою первую съемку. Подобно мне, его звали простым и обыденным именем: Николай. Мы с ним не то чтобы подружились, а сошлись. Я полюбил работать с ним, старался всякий раз заполучить к себе в бригаду, и он натаскивал меня в операторском деле. Я с ним об этом и намеревался потолковать: об операторских фишках, о постановке кадра, о движении камеры (когда я стану снимать клипы, как мне пригодятся его уроки!).

– А что, кого я клеил? – удивился я заданному Николаем вопросу.

– А то ты не знал?

– Иди ты! – отмахнулся я. И спросил снова: – Так кого?

Он назвал фамилию, от которой по мне прошел электрический ток. Отец ее занимал на соседнем канале пост – не Эверест, но крыша мира Памир – это точно. Я невольно присвистнул:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.